



УДК 008 (091)

© А. А. Иванов, 2012

**СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И «СТРАСТЬ РЕАЛЬНОГО»:
К ПРОБЛЕМЕ АВТОНОМИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОЛЯ**

Иванов А. А. – канд. культурологии, доцент кафедры «Строительство и архитектура», тел. (4217) 20-11-18, e-mail: larsandr@mail.ru (КнАГТУ)

Разрушение автономности художественных практик в советской культуре 1930 гг. было связано с построением образа советского государства как «новой эры» в истории человечества. Требование к художественно-символическим системам соответствовать новой жизни оборачивалось подчинением их полю идеологии. Отказ от внутренних автономных оценок и замещение субъективности «объективным» языком идеологии обеспечивали укрытие от травматического Реального сталинской эпохи и, одновременно, принятие его. Соцреализм утверждается как символический порядок, монопольным означаемым которого является сам факт подчинения субъекта языку идеологии.

Destruction of autonomy of artistic practice in Soviet culture in the 1930s was connected with building image of Soviet state as “new era” in history of mankind. The requirement to artistic-symbolic systems to correspond to the new life resulted in subordination of them to ideology field. Renunciation of inner autonomic assessments and replacement of subjective view by “objective” language of ideology ensured a cover from traumatic Real of Stalin era and, at the same time, acceptance of it. Social realism is affirmed as symbolic order, which monopolistic meaning is the fact of subordination of subject to language of ideology.

Ключевые слова: идеология, избыточное наслаждение, символический порядок, страсть Реального, Другой.

Одним из главных условий функционирования литературных практик (как и прочих сфер интеллектуальной деятельности) в обществе Модерна является наличие внутригрупповых и внутридисциплинарных оценок инноваций, «гамбургский счет» как признание среди самых сильных в своем роде. Внутренние критерии оценки произведений, исходящие из специфической истории поля художественной деятельности и не имеющие смысла в рамках других полей, противопоставляются внешним оценкам (со стороны «истэблшмента», экономических и политических элит), обеспечивая тем самым относительную автономию и независимость творчества.



Становление тоталитарной системы в СССР в 30-х годах сопровождалось нарушением этой автономии, подчинением всех сфер социальной реальности идеологическому проекту, отрицанием и недопущением практик, фиксирующих границы полей интеллектуальной деятельности. Как отмечают Л.Д. Гудков и Б.В. Дубин, для осуществления контроля над творческим потенциалом «достаточно было парализовать внутреннюю шкалу ценностей и оценок, изменить систему вознаграждений» [3]. Одним из таких «таранов», пробивающих границы самостоятельности литературы, стало требование соответствия ее «новой жизни» – внелитературной реальности страны «победившего пролетариата».

Образ строящейся страны как новой эры в истории человечества, как места рождения нового общества и человека становится средством формирования своего рода комплекса неполноценности в художественной среде, которая, якобы, «варясь в своем соку», не поспевает за жизнью. Писательница Лидия Сейфулина в письме к ссыльному Карлу Радеку в 1928 г. формулирует внутреннее ощущение разлада с действительностью: «Внешне шумливая наша жизнь бедна содержанием. Нет в ней ничего, о чем хотелось бы вам рассказать. Она какая-то неверная, ночная, вся из разговоров и игры для забвенья, оторвана от живой практической жизни людей иного, чем наш, труда. (...) Произошел какой-то неладный отрыв работника литературы от живой жизни» [11]. Желание «живой практической жизни» подразумевает и большую открытость, «оголенность» личной сферы внешнему взгляду. Узнав о перлюстрации органами ГПУ своей переписки, Сейфулина в следующем письме к Радеку пишет: «В конце концов, революция обязывает к неудобствам житейским. По необходимости можно поспать и в открытой спальне, претерпеть разглашение моих личных злоключений» [11]. Принятие необходимости внешнего надзора – это та жертва, которую индивид должен заплатить за включение в новую жизнь. Так внутренние критерии оценки художественного поля (и всех прочих) размываются и девальвируются под влиянием внешнего языка идеологии.

Главным критиком становится власть и ее персонификация – Сталин. В 1935 г. Илья Эренбург узнает от Н.И. Бухарина о гневной реакции Сталина на его статью «Письмо к Дусе Виноградовой» в «Известиях». Он пишет ему письмо-оправдание, где присутствуют такие строчки: «Я часто думаю: какая в нашей стране напряженная, страстная, горячая жизнь, а вот искусство зачастую у нас спокойное и холодное... Я вижу жизнь, в которой больше нет места ни скуке, ни рутине, ни равнодушию. Если при этом литература и искусство не только не опережают жизнь, но часто плетутся за ней, в этом наша вина: писателей и художников» [11]. Разумеется, содержание письма в целом объясняется вполне понятным страхом перед обретшим неограниченную власть Сталиным. Поэтому в нем были выбраны такие формы обращения и оправдания, сходные с отчетом о проделанной работе и исповедью одновременно, которые смогли оказать воздействие на адресата – резолюция Сталина на этом письме остановила уже готовую было подняться травлю «парижского



счастливчика», как называли Эренбурга. Однако тот же образ разрыва между «стремящейся вперед» жизнью и «плетушимся» за ней отражением мы встречаем в выступлении на Парижском Антифашистском конгрессе в 1935 г. французского поэта, которому нельзя приписать простой страх перед вождем народов. Рене Кревель – бывший сюрреалист, а к началу конгресса искренний сталинист – в докладе «Индивидуум и общество» «говорил»: «Не попытаться согласовать свой внутренний ритм с диалектическим движением мира – это означает для индивида подвергнуть себя опасности потерять всю свою ценность и всю свою энергетическую мощь. Это означает, в конце концов, опуститься среди старых марионеток реакции» [11]. Оппозиция «литература – жизнь» здесь трансформирована в более откровенное противопоставление «индивид – общество» и реализована истинно по сюрреалистически: сам поэт покончил жизнь самоубийством за несколько дней до выступления, а доклад был озвучен Луи Арагоном. Молодой поэт, не бывавший ни разу в Советской России, выразил в наиболее чистой, окончательной форме то действие, которое постоянно должен был совершать всякий советский гражданин, – устранить себя как субъекта, чтобы вместо него заговорил объективный сталинский язык, «бесцветный голос, полностью освобожденный от любых остатков психологии» [4].

Этот разрыв, расщепленность субъекта более мирно, но не менее выразительно артикулировал Юрий Олеша на одном из многочисленных обсуждений статьи «Сумбур вместо музыки», вышедшей в «Правде» в 1935 году и, по мнению С. Волкова, написанной Сталиным [2]: «Эта статья сильно ударила по моему сознанию. Музыка Шостаковича мне всегда нравилась... Легче всего было сказать себе – я не ошибаюсь и отвергнуть для себя самого, внутри, мнение «Правды». К чему бы это привело? К очень тяжелым психологическим последствиям. У нас, товарищи, весь рисунок общественной жизни чрезвычайно сцеплен. У нас нет в жизни и деятельности государства самостоятельно растущих и движущихся линий. Все части рисунка сцеплены, зависят друг от друга и подчинены одной линии... Если я не соглашусь с этой линией в каком-либо отрезке, то весь сложный рисунок жизни, о котором я думаю и пишу, для меня лично рухнет: мне должно перестать нравиться многое, что кажется мне таким обаятельным» [9]. Иными словами, отказ от внешней точки зрения, отрицающей мои личные убеждения, угрожает потерей некоего существенного наслаждения – наслаждения социальной действительностью как «обаятельной» целостностью. Здесь существенными представляются два момента: первое – наслаждение это явно не гедонистической природы, оно располагается «по ту сторону принципа удовольствия», так как определяется жертвенным отречением от собственной субъективности; второе – в объекте наслаждения, в «связанности рисунка жизни» постулируется что-то очень хрупкое, требующее напряжения постоянного отказа и готовое в любой момент обернуться кошмаром чего-то необъяснимого и непредставимого.

Идеология как фантазм, структурирующий особое, «избыточное» наслаждение, стала предметом исследования С. Жижека в работе «Возвышенный объект идеологии» [3]. Будучи последователем структурного психоанализа Ж. Лакана, Жижек рассматривает феномен идеологии в аспекте лакановской триады реального, воображаемого и символического. *Реальное* – это первичный для ребенка мир отсутствия различий между «Я» и «миром», мир отсутствия субъекта: «Реальное – это полнота инертного наличия, позитивности», «Средоточием Реального является наслаждение...» [4]. *Воображаемое* – результат психологической защитной реакции на нарушение единства с внешней действительностью (телом Матери), проявляющейся прежде всего в создании целостного образа Я – иллюзорного нарциссического облика. Основной компонент воображаемого – желание, которое направлено не на присвоение тех или иных объектов, но на признание самого себя. Посредством желания, по мнению Лакана, человек конституируется в качестве субъекта. *Символическое* заключает в себе порядок культуры, который индивид усваивает «в готовом виде» сцепления означающих, тотально трансформирующих желание Воображаемого и импульсы Реального в тексты культуры. Символическое является «местоположением» образа Другого – символического Отца, источника закона и нормы, признания которого теперь желает субъект, с кем себя идентифицирует и чьими словами теперь говорит: «в самой потаенной глубине самого себя, там, где происходит самоотжествление, я нахожу не себя, а его, меня подталкивающего» [12]. Символический порядок выстраивается вокруг травматического отказа от Реального как наслаждения, ставшего чистой негативностью, отсутствием, пустотой: «Реальное само по себе – дыра, разрыв в самом средоточии символического порядка, нехватка, вокруг которой структурируется символический порядок» [4]. Потому Реальное принципиально непредставимо, существует лишь как нечто упущенное, ошибочное, представленное лишь рядом следствий.

По мнению С. Жижека, символический порядок идеологии опирается на безусловный закон, предписания которого не могут быть полностью включены в символический мир субъекта. Этот закон абсурден, травматичен, так как интериоризация в универсалии Смысла и Истины никогда не бывает полностью успешной, ей всегда сопутствует некий излишек, «причем этот излишек не препятствует безусловному подчинению субъекта идеологическим предписаниям и, более того, составляет неременное условие такого подчинения: именно этот несвязанный избыток абсурдного травматизма наделяет Закон его безусловной властью» [4]. В романе Александра Мелихова «Изгнание из ада» герой, репрессированный в 30-х годах, в своих воспоминаниях напишет: «А обижаться на безличную силу, сломавшую нашу судьбу, – кто же обижается на слепую стихию! А если за стихией угадывалась чья-то злая воля? С нею было страшно поспорить даже мысленно. *И где-то таилась нелепая надежда, будто эта сила каким-то образом может оценить нашу верность...*» (курсив мой – И.А.) [6]. Другими словами, в самом средоточии идеологического порядка находится нечто непостижимое, некое основопола-



гающее не-знание, нехватка, вакуум, что является «негативным» признаком наличия Реального – травматического опыта, ускользающего от универсально-символических детерминаций.

Реальное сталинской эпохи, встроенное в саму структуру социальной действительности, – это «непостижимые» колебания линии партии от борьбы с троцкистской оппозицией в середине 1920-х до воплощения ее же политической программы в жизнь в 30-х годах. Это показательные процессы над «врагами народа» – бывшими руководителями партии. Это массовые репрессии над крестьянским населением в начале 30-х годов и над самой партией во второй половине десятилетия. Это разросшаяся по всей стране сеть ГУЛАГа. Именно на этом фоне идеология, представляющая социальную реальность как «сцепленный, целостный рисунок», где все оправдано и гармонично, становится спасительным укрытием и источником наслаждения. «Функция идеологии – пишет С. Жижек, – состоит не в том, чтобы предложить нам способ ускользнуть от действительности, а в том, чтобы представить саму действительность как укрытие от некоей травматической, реальной сущности» [4]. Для определения подобной формы наслаждения Жижек использует лакановское понятие *plus-de-joie* – «избыточное наслаждение». Голос Другого призывает нас следовать своему долгу, отказаться от субъективного желания, от принципа удовольствия и принципа реальности, пожертвовать собой, где цель жертвы – в ней самой: «именно это отречение, отказ от наслаждения и производит прибавочное, избыточное наслаждение» [4]. Таким образом, «тоталитарный Закон – это непотребный закон, закон, пропитанный наслаждением, потерявший свою формальную нейтральность» [4].

Примером здесь может послужить дневник драматурга Александра Афиногенова, датируемый 1937 годом, когда «маховик репрессий» развернулся в полную силу и сам писатель чувствовал нависшую над ним угрозу: он был знаком с Ягодой, уже снятым и объявленным «врагом народа», вокруг него началась травля, его исключили из партии, иными словами, со дня на день он ждал ареста. Именно в это время в его дневниковых записях, как отмечает Б. Сарнов, появляется навязчивый мотив страстного, почти истерического восхищения окружающей действительностью, часто вызванный прочтением тех или иных книг: «Читал, не отрываясь, «Боги жаждут». Читал давно когда-то, и тогда запомнилась только мансарда старика, его паяцы и потом – как судья воспользовался девушкой и обманул ее... А теперь прочел, захлебываясь, чтобы со всей силой еще раз ощутить – великое милосердие нашей революции» [9]. «Жан Кристоф» Ромена Роллана, далекий от революционной темы, вызывает сходные переживания: «И все кругом – все эти кружки, салоны, кучки, журналы – все покрыто плесенью продажности и разложения, и, читая, не отрываясь, изредка вздохнешь полной грудью, оглянешься, подумаешь: это же, как сон, как кошмар, и какое счастье, что у нас нет ничего на это похожего, что мы, суровые и строгие, не очень-то щедрые на похвалы, в тысячу раз лучше, и целомудреннее, и чище, и человечнее всех этих фарисеев волчьего мира, где только один закон – угнетения сильным

слабого» [9]. То, что именно литература становится поводом для восхищения окружающей действительностью, свидетельствует, что действительность сама располагается на одном уровне с литературой, символическим отражением, вымыслом; ее смысл раскрывается в соотнесении с текстом: «И только когда читаешь такое вот воспоминание из хорошей книги, глаза наливаются слезами, сердце переполняется благодарностью к тем, кто, несмотря ни на какие препятствия, протесты, крики и измены, ведет нас по этой дороге настоящей и замечательной жизни» [9].

Социальная действительность, приносящая избыточное наслаждение, – это символический порядок Другого (Super-Ego), взглядом которого субъект смотрит на себя, отчуждается и превращается в объект наблюдения, контроля и наказания. Именно с этой позиции, ожидая ареста, Афиногенов может говорить о единственной в мире справедливой стране и власти: «Да, самая справедливая и единственная... почему я говорю это именно сейчас, когда, казалось бы, должен вопить о несправедливости и думать о несовершенстве всей системы? Да потому, что кто-то там, наверху, видит все... и знает, (...) на деле я действительно невиновен» [9]. Отметим, что этот «Кто-то» принципиально непостижим, он существует, как пустота и разрыв, как Бог евреев, действительные желания которого совершенно неясны. И поэтому Афиногенов на процедуре своего исключения из партии сам же за исключение и голодает «...ибо так надо. Почему надо? Трудно сказать, такая уж волна идет, так надо» [9]. Так субъект приносит себя в жертву Другому и преобразуется в человека «железной воли», освобожденного от повседневной рутины, человеческих страстей и слабостей: «я положил себя под нож, я взрезал не только желудок, но и сердце, *я умертвил себя во мне* (курсив мой – И.А.), и потом свершилось чудо, уже не надеявшийся ни на что, кроме гибели физической, уже приготовивший себе эту гибель, я понял и увидел вдруг начало совсем нового «я», далекого от прежних смут и сует, «я», возникшего из тумана всего лучшего, что во мне было когда-то» [9].

Преображенный субъект, исключенный из повседневного круговорота, воплощает в себе героическую «страсть Реального» – готовность полного принятия «грязной, непристойной изнанки Закона» [5]. Парадокс состоит в том, что страсть Реального – «живой, практической жизни» (Л. Сейфулина), «напряженной, страстной и горячей» (И. Эренбург) – «достигает своей высшей точки в своей очевидной противоположности, в театральном зрелище» [5], т.е. в самодостаточном, полностью скрывшем под собой всякую субъективность и информативность символическом порядке. Сталинизм – это язык, оперирующий означаемыми без означаемых, направленными к недостижимой сущности Реального: «классовый враг», «троцкистско-зиновьевская банда», «цепной пес реакции», «вождь всех трудящихся», «самый человеческий человек» и т.д. Такие слова, как отмечает М. Эпштейн, «не столько называют явление, сколько колдуют над ним, совершают магический акт его возвышения или снижения, приказывают ему быть или не быть» [13]. Значение таких высказываний отождествляется с самим актом их провозглашения и заключа-



ется в безусловном подчинении субъекта высказыванию, как Ego подчиняется травматическому предписанию Super-Ego. Иосиф Бродский в «Послесловии к «Котловану» А. Платонова» отмечает: «Платонов сам подчинил себя языку эпохи, увидев в нем такие бездны, заглянув в которые однажды, он уже более не мог скользить по литературной поверхности... Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде жертвой своего языка, а точнее – о самом языке, оказавшемся способном породить фиктивный мир и впадшем от него в грамматическую зависимость» [1].

Субъект расщепляется в системе означающего на «язык Другого» и «объект в себе», где последний наказывается первым. Так, Афиногенов голодает за собственное исключение из партии, Олеша линчует свою любовь к музыке Шостаковича, а жертвы сталинских процессов, исходя из долга настоящего коммуниста, признают себя врагами народа и требуют расправы над собой.

Приведем еще несколько показательных, с нашей точки зрения, примеров этой «расчлененности».

Журналист и писатель Михаил Кольцов, верно служивший Сталину в организации двух Антифашистских конгрессов во Франции и Испании, когда в 1937 г. возвращался в Москву, чувствуя изменение отношения к нему «Хозяина», заезжает в Париж к Луи Арагону и его жене. О прощании с Кольцовым Арагон напишет в книге «Гибель всерьез» в 1965 г.: «Уже толкнул дверь, но вдруг шагнул назад и вернулся в нашу тесную прихожую. «Я хотел, прежде чем уйти, сказать вам одну вещь...» (...) Так вот. Он едет на родину. Что там с ним будет, он не знает... Но, что бы ни случилось с ним лично, запомните, запомните оба... *Сталин всегда прав...* запомните, что это были мои последние слова...» [11]. Кольцова арестовали в декабре 1938-го, расстреляли в 1939 г.

Одной из загадок Парижского антифашистского конгресса (где звучала речь Рене Кревеля) стало выступление Бориса Пастернака. По его собственным воспоминаниям, пересказанным И. Берлиным, главная мысль его доклада была изложена в следующих словах: «Я понимаю, что это конгресс писателей, собравшихся, чтобы организовать сопротивление фашизму. Я могу вам сказать по этому поводу только одно. Не организуйтесь! Организация – это смерть искусства. Важна только личная независимость. В 1789, 1848 и 1917 гг. писателей не организовывали в защиту чего-либо. Умоляю вас – не организуйтесь!» [11]. То, что Пастернак действительно готовил такие слова для своего выступления, подтверждается в мемуарах И. Эренбурга, сопровождавшего его по дороге в Париж. Но никто из присутствовавших при самом выступлении подобных слов не запомнил. Овации вызвала его фраза: «Поэзия... ее ищут повсюду... а находят в траве...», впоследствии растиражированная во множестве книг и воспоминаний. Крамольную же часть доклада, которая была бы безусловной сенсацией, прозвучи она из уст советского делегата, не отразили ни парижские газеты, ни доносы стукачей из советской делегации. Пастернак в это время был сильно болен, после речи он стоял за

кулисами и повторял: кто отвезет его в гостиницу? [9] Видимо, главные слова прозвучали только в его помутненном сознании, а действительная речь существовала самостоятельно, как самодостаточная вещь-в-себе, почему Борис Леонидович впоследствии и отрекся от знаменитой фразы про траву: «Я превращен в какого-то инфантильного человека» [11].

Писатель Василий Ажаев оказался в Комсомольске-на-Амуре в 1934 г. в качестве заключенного – осужден по 58-й статье, прошел путь от простого зека до начальника контрольной инспекции Управления лагерей. За свой роман «Далеко от Москвы», вышедший в «Новом мире», в 1949 г. писатель получил Сталинскую премию. Роман повествует о строителях нефтепровода недалеко от Комсомольска во время Великой Отечественной, только все реальные топонимы заменены в нем на вымышленные: Адун – это Амур, остров Тайсин – Сахалин, Рубежанск – Хабаровск, Новинск – Комсомольск. По тематике это образцовый производственный роман про «трех богатырей»: три руководителя стройки решают почти невыполнимую задачу: построить нефтепровод силами комсомольцев не в три, а за один год. В 1995 г. американский исследователь творчества Ажаева Т. Лахусен, краеведы М.А. Кузьмина и В.И. Ремизовский совершили экспедицию по местам, описанным в романе, встретились со строителями нефтепровода. Последним роман единодушно был оценен как «вранье!»: «Техники практически не было никакой, все делалось руками заключенных, погибло коих на строительстве нефтепровода немало» [8]. А комсомольцы были только среди конвоиров. Показательно, как автор – бывший зек и непосредственный участник строительства – на фундаменте пережитого лично опыта выстроил тотальный идеологический фантазм, руководствуясь требованиями высшей, государственной точки зрения – «Большого Другого», стирающего все знаки личной вовлеченности (перед публикацией в «Новом мире» роман был значительно переработан под руководством Константина Симонова).

Приведенные примеры с писателями наглядно иллюстрируют тот факт, что литература и искусство как члены символического порядка не только были вынуждены подчиниться общему идеологическому диктату, но были важной, если не главной, составляющей последнего. Принятие «непристойной изнанки Закона» с необходимостью предполагает растворение «Я» в самодостаточном символическом универсуме – системе означающих без означаемых, точнее, означаемое которых состоит в самом факте подчинения языку как предписанию. Социалистический реализм как «правдивое изображение действительности в ее революционном развитии» реализует это предписание – видеть в социальной реальности ее тотальную подчиненность акту высказывания. *Рассказать, для чего* существует эта реальность, к чему движется, значит определить ее как символический порядок, включив в его структуру оправдание любых жертв. Советская вселенная, таким образом, предстает как соцреалистический гипертекст, своей фиктивностью скрывающий и, одновременно, утверждающий травматическое Реальное советской цивилизации.



Показательна в этом аспекте характеристика отношения советских людей к репрессиям, данная правозащитником Э. Орловским. Он отрицает утверждения, будто до XX съезда большинство советских людей ничего о них не знало: «Почти все (даже дети) знали почти все – без подробностей, в общих чертах, но знали. А если очень хотели, то могли узнать и немало подробностей. Другое дело, что эти знания были как бы на периферии сознания и странным образом сочетались у многих с сакрализацией Сталина и (или) партии» [7]. Это противоречие само и является ключевой дефиницией идеологического сознания – антагонизм между травматическим опытом Реального и символическим Другим представляет диалектическое целое, объединенное избыточным наслаждением. Поэтому не было большой необходимости особенно скрывать информацию о репрессиях (по крайней мере, внутри страны), достаточно изменить восприятие посредством идеологической иллюзии – применить своего рода галлюциноген. Э. Орловский далее пишет: «Мне представляется даже, что власти заинтересованы были скорее не в сокрытии информации, а в том, чтобы каждый, зная многое, мог делать вид (и перед другими, и перед собой), что он как бы ничего не знает» [7]. Эта мимикрия возможна, когда пространство культуры заполняет соцреалистический текст, создающий иллюзорную фигуру Большого Другого – нового социалистического человека – и к нему же адресованный.

Итак, советская литература, страстно желая «живой жизни», угодила в ловушку идеологического фантазма, шизофренически расколовшись на тотальный язык, которым говорит Другой, и субъекта, онемевшего в ужасе перед Реальным своего желания. Последний, к счастью, все-таки онемел не полностью – тихо, «под глыбами» сталинского языка он высказывался. Так, Николай Пунин, муж Анны Ахматовой, в дневнике в 1936 г. писал: «Я знаю, многие живут желанием уберечься от жизни: одни, сжимаясь до невидимости, другие, не ожидая ударов, ударяют сами. Никто не дружен с нею. И у меня с ней ничего не вышло» [2].

Библиографические ссылки

1. *Бродский И.* Послесловие к «Котловану» А. Платонова / И. Бродский. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://thelib.ru/books/brodskiy_iosif
2. *Волков С.* Сталин и Шостакович: случай «Леди Макбет Мценского уезда» / С. Волков // Знамя. – 2004. - № 8. – С.152-181.
3. *Гудков Л.Д.* Интеллигенция: Заметки о литературно-политических иллюзиях / Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин. – М.: «Эпицентр»; Харьков: «Фолио», 1995. – 187 с.
4. *Жижек С.* Возвышенный объект идеологии / С. Жижек. – М.: «Художественный журнал», 1999. – 235 с.
5. *Жижек С.* Добро пожаловать в пустыню Реального / С. Жижек. – М.: Фонд «Прагматика культуры», 2002. – 160 с.
6. *Мелихов А.* Изгнание из ада / А. Мелихов // Новый мир. – 2010. - № 6. – С.6-86.



7. Орловский Э.С. Мой путь в диссиденты / Э.С. Орловский // Нева. – 2002. - № 6. – С.166-187.
8. Ремизовский В.И. Василий Ажаев и его роман «Далеко от Москвы» // Комсомольская-на-Амуре литературная энциклопедия / Под ред. С.И. Вишняковой. Том 1. – Комсомольск-на-Амуре: Со-Весть, 2008. – С. 188-194.
9. Сарнов Б. И где опустишь ты копыта? Статьи, очерки, фельетоны 80-х – 90-х годов / Б. Сарнов. – М.: Эксмо, 2007. – 768 с.
10. Толстой, И. Одеть и срочно отправить в Париж! / И. Толстой // Огонек. – 2010. - № 4. – С.15-19.
11. Фрезинский Б.Я. Писатели и советские вожди: Избранные сюжеты 1819-1960 годов / Б.Я. Фрезинский. – М.: Эллис Лак, 2008. – 672 с.
12. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – СПб.: Симпозиум, 2006. – 544 с.
13. Эпштейн М.Н. Слово и молчание: Метафизика русской литературы: Учеб. пособие для вузов / М.Н. Эпштейн. – М.: Высшая школа, 2006. – 559 с.